

A still life photograph of a wooden shelf. On the shelf, there is a clear glass bottle with a faceted stopper, a round analog clock with a white face and black hands, and several small glass bottles. To the right of the shelf, there is a bunch of red apples. The background is a dark, textured wall.

ОЛЕГ ГЕРТ

# ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ

ПРОЗА И СТИХИ

Олег Герт

**Десять вещей. Проза и стихи**

«Издательские решения»

**Герт О.**

Десять вещей. Проза и стихи / О. Герт — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-932677-5

Олег Герт — публицист, писатель, психолог, представитель яркого «поколения пи-людей», «переживших две страны», впитавших опыт советской и постсоветской действительности, чьи жизненные ценности формировались в условиях массового крушения таковых. «Десять вещей» — взгляд на себя и другого, попытка осмысления общечеловеческого опыта в личном контексте, приглашение к разговору о простом и сложном...

ISBN 978-5-44-932677-5

© Герт О.

© Издательские решения

## Содержание

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА С ОПЫТОМ РАБОТЫ	6
МАГАЗИН ВЕСЁЛОГО ЙОЗЕФА	18
ПРОВОДНИКИ	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# **Десять вещей Проза и стихи**

**Олег Герт**

© Олег Герт, 2018

ISBN 978-5-4493-2677-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА С ОПЫТОМ РАБОТЫ

*Опять берет Его диавол на весьма высокую гору  
и показывает Ему все царства мира и славу их,  
и говорит Ему:  
всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.  
Тогда Иисус говорит ему:  
отойди от Меня, сатана, ибо написано:  
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.  
Тогда оставляет Его диавол,  
и се, Ангелы приступили и служили Ему.*

*(Мф. 4:11)*

Разговор с попутчиком в железнодорожном вагоне – любимейшая мизансцена в мировой литературе. Добавить что-либо новое в описание декораций, в которых такой разговор проходит, сложно. Вагон, как правило, плавно раскачивается, за окном проплывает пейзаж. Если сюжет разворачивается днём, пейзаж представляет собой незавершённую панораму, залитую ненатурально ярким солнцем, с унылыми низкими облаками на горизонте и голубым маревом в зените. Бывает пейзаж и вечерний: чёрно-синий, с врезающимися в потемневшее небо силуэтами семафоров и одиноких деревьев вдали. Чаще всего, он летний; странно, но длинный душевный разговор в зимней поездке описывается редко. Хотя, кажется, что может быть естественней нескончаемой беседы в натопленном вагоне, плывущем сквозь такую же нескончаемую снежную целину...

Поскольку день (или вечер) летний, то окно приоткрыто, – и в него непременно врывается или горячий ветер степи, или прохладный лесной воздух. На столе между попутчиками обязательно присутствуют чайные стаканы, в оловянных либо мельхиоровых подстаканниках, в которых изредка вздрагивают ложки.

Путешествие в поезде оказывает гипнотическое воздействие. Монотонное раскачивание вагона, удивительная многослойность поездных звуков... Музыка поездного времяпровождения – сложная смесь из однообразного шума за окном, ритмичного стука колес, вжикания купейных дверей, покашливания в соседнем купе, смеха в третьем, храпа в четвёртом. Что именно из этого повергает в фирменный поездной транс, сказать сложно; скорее, всё вместе. Путешествуя в поезде, люди начинают ощущать время; путешествуя в поезде, люди начинают слышать биение собственного сердца; стук вагонных колес в равной степени напоминает и то, и другое; и спрятаться от этого звука путешественнику совершенно невозможно. И текут, текут поездные разговоры, продолжаясь за полночь: разговоры ни о чем и обо всем сразу, разговоры трезвые и разговоры пьяные, разговоры между незнакомыми совершенно и знакомыми едва. Много, много поездных разговоров...

А спутник, попутчик на этот раз худ и седоват, с глубоко посаженными потемневшими глазами, одет чисто и опрятно, но недорого, и стакан перед ним – с чаем, почти полный, с непременно ложкой, которая скоро, скоро уже начнёт свое ритмичное позвякивание о край стакана. Ну, а второй собеседник – ваш покорный слуга.

И пейзаж за окном в этот раз степной и ночной, воздух в окно врывается летний, горячий и вязкий, и свет в купе притушен, и стук колес слышен сейчас отчетливо, потому что пауза продолжается в разговоре уже несколько минут...

– Я вас, похоже, утомил. Простите, но вы, возможно, спать хотите?

– Нет, ничуть не утомили. Вы интересный собеседник, – сказал он дружелюбно, глядя прямо мне в глаза, – Мы разговариваем менее часа, а поговорили уже о стольких вещах... Не знаю, правда, что лучше: непринуждённо перескакивать в разговоре с предмета на предмет, или уметь глубоко сосредотачиваться на чём-то одном. Знаете, в юности я как-то услышал метафору «каботажное плавание» применительно к рассуждениям... Каботажное плавание – плавание около берегов, на небольших глубинах. Люди, которые обладают такого рода умом, неглубоким, поверхностным, как правило, боятся покидать прибрежную зону... Впрочем, когда я познакомился со своей будущей женой, я быстро убедился – в разговоре с женщинами это единственно возможный вариант поддержания разговора.

Он улыбнулся.

– Будучи молод и не слишком искущён в общении с противоположным полом, я знаете ли, поначалу увлекался в беседе... Книжное воспитание, университетское образование... Но заметил, что мои длинные умные монологи быстро вгоняют прекрасную даму в скуку. Что ж, научиться говорить коротко и бессмысленно, обращая внимание не на содержание слов, а на тембр собственного голоса – это было тоже забавно. В сущности, как же похоже, и даже одинаковы, мы становимся, как предсказуемы, когда добиваемся женской благосклонности! Предсказуемы даже для себя, чего уж говорить о них... Да, так вот эту-то науку говорить ни о чём низким приятным баритоном я и начал постигать, – наряду с умением совершать бессмысленные с разумной точки зрения поступки, наряду с искусством быть сопровождающим, рыцарем, слугою, чёрти чем, в общем...

– Сарказм в ваших словах и подтрунивание над собой означает, как я полагаю, что ваш брак оказался не слишком успешным? – спросил я, – Недолгим? Вы расстались?

– Да, мы расстались, – подтвердил он очень спокойно, – Прошло уже девять лет, но поначалу, признаюсь, мне было крайне тяжело... Видите ли, мне никогда не хватало ироничного, лёгкого отношения к этой жизни: к сожалению для меня самого, очень многое, если не всё, я делал и делаю слишком всерьёз... Так вот, я всерьёз полюбил и очень всерьёз женился. Брак, семья, дети, супружеская верность – все это были для меня очень серьёзные категории, почти сакральные: в отличие, как я полагаю, от многих моих и ваших современников.

Он снова улыбнулся.

– И когда все рухнуло... что ж, это было нелегко для меня, скажу вам прямо... Я читал и слышал от других, что на переживание разрыва требуется от полугода до двух лет. Не знаю, видимо, это не мой случай: я помню, что три или четыре года я не мог прийти в себя, не мог работать, преподавать, часто думать не мог ни о чём другом, кроме как о ней и о том, что произошло... Я видел и чувствовал, как разрываются дети, как они переживают – да, у нас уже было двое детей, были и есть, слава Богу, здравствуют, сейчас Кирюше уже двенадцать, а Елене четырнадцать... Да. Скажу банальность, но именно время – великий лекарь; по прошествии лет всё, так или иначе, выглядит и воспринимается по-другому...

– Судя по вашим словам, инициатором разрыва была супруга? Что же произошло? Простите за бестактность, если я её совершаю, но мне показалось...

– Нет, это было моё решение, – произнёс он, опять-таки очень спокойно и без промедления, – Знаете, мне не хочется говорить о причинах, я никогда о них не говорю. Нет, я не полюбил другую женщину. Нет, я не ушёл из семьи. Скажу вам больше: годы после разрыва я продолжал любить свою жену и думал только о ней. Но есть вещи, через которые я не могу переступить. Это, опять-таки, говорит не в мою пользу, я понимаю: возможно, следует иметь более современные и либеральные взгляды на брак...

Он побарабанил пальцами по краю стола.

– Да. Мне было сложно отвечать на подобные вопросы первое время. Друзья, близкие знакомые интересовались, спрашивали с участием: что произошло? Видимо, со стороны мы выглядели довольно гармоничной парой и крепкой семьёй... Я отделывался простой формули-

ровкой: сначала она была очень искренней, идущей от сердца, а потом я увидел, что и разумно добавить к ней нечего, в общем. А отвечал я так: я не хочу говорить о причинах, поскольку я мужчина и отец, а речь идёт о человеке, который был мне дорог... Понимаете, самым серьёзным откровением для меня стал не факт того, что случилось. Самое удивительное, – а мне было уже за сорок, казалось бы, удивляться уже не следует, – насколько может измениться женщина, которая ещё вчера, буквально вчера, выглядела или казалась любящей, искренней, верной и понимающей!.. Ну, а потом я пришёл к выводу, к которому должен был прийти давным-давно, если бы не был так влюблён: мы не видим человека, в которого влюбляемся, мы видим его выдуманный нами же образ. Человек с годами не меняется – умирают наши иллюзии по его поводу...

– Дети, я полагаю, живут с матерью?

– Да, – кивнул он, глядя в окно и поглаживая длинными пальцами выгнутую ручку чайного подстаканника, – Мы изредка видимся, хотя не так часто, как хотелось бы мне... И им тоже, я думаю...

Я покачал головой.

– И вы, само собой, ни в чём не обвиняете её, а вините только себя? – спросил я, – Думаете: ведь именно вы проявили жизненную близорукость: увидели и полюбили не реального человека, а выдуманный вами образ, так? Именно вы, будучи старше и умнее, не смогли обеспечить мир и понимание в семье, не правда ли? Вы и только вы отвечаете за неудавшуюся семейную жизнь? Bravo! Если бы вы знали, сколько раз в своей журналистской карьере я слышал или читал о подобных историях!

Мне всегда было непонятно, почему это умные, взрослые, успешные во многих областях мужчины оказываются так беспомощны во взаимоотношениях с женщинами... А потом, когда следует разрыв, – а следует он, как правило, именно из-за женщины, – они выплачивают своим бывшим жёнам содержание, они остаются без общения с детьми, они страдают и переживают... Вы и вправду видите в этом свою и только свою вину?!

Простите, если мое предположение заденет вас: но из того, что вы говорите, или вернее, не говорите о причине вашего разрыва, из того, как вы об этом не говорите, следует только одно. Жена изменила вам, возможно, изменяла неоднократно, и именно это побудило вас к разрыву... Но даже и здесь, вместо того, чтобы назвать вещи своими именами, назвать блудницу блудницей и просто вышвырнуть ее за дверь... вместо этого вы и подобные вам, – еще раз простите за резкость, – делают все, чтобы дать сохранить этой блуднице лицо, защитить, так сказать, её честь, которой давно уже не существует, да еще и обеспечить её содержанием... Неужели вы не видите очевидной несправедливости такого положения? Несправедливости жизни и самой ситуации, в которой вы оказались?

Мое выступление, по-видимому, получилось весьма горячим. Он задумался.

– Что же, вы во многом угадали практические факты моей истории, – сказал он после небольшой паузы, – Ваша оценка и интерпретация этих фактов для меня тоже понятна. И, поверьте, приходила мне на ум. Первое время я буквально ощущал себя героем «Крейцеровой сонаты» – что ещё раз подтверждает величие литературных гениев, их умение находить типичное и универсальное в том, что каждому из нас по отдельности кажется исключительным...

Поверьте, я могу быть жестким, – он вскинул на меня глаза, и я увидел, что взгляд его изменился: голубые зрачки его стали необыкновенно холодными и полупрозрачными, как ледяное мартовское небо, – И я отдаю себе отчёт в том, что с определенной точки зрения всё, что вы говорите, – абсолютная правда. Наше европейское, так называемое цивилизованное, общество приравнивало женский блуд, измену жены и матери, к незначительному недоразумению: и даже склонно обвинить в недоразумении не женщину, а мужа, чьё невнимание к ней и привело к этому...



Но, поверьте, – и за это говорит весь мой жизненный опыт, – судить себя, а не других следует уже потому, что только себя вы и можете изменить. Всё, чтобы ни случилось с вами – часть вашей жизни, вашей биографии, вашего характера. И если происшедшее плохо и печально, самое разумное, что можно сделать – изменить то, что к этому привело, внутри вас...

Он замолчал и снова побарабанил пальцами по столу.

– Впрочем, я бы не хотел вновь ворошить эту историю, – сказал он, снова вскидывая на меня глаза. Взгляд его, еще минуту назад удививший своей холодностью и сосредоточенностью, снова стал мягким и чуть ироничным, – Я не сумел забыть о ней, но сумел сделать надлежащие, как мне представляется, выводы: а этого уже довольно, и уже за это следует поблагодарить жизнь...

Мы некоторое время молчали.

– Возвращаю вам комплимент, – сказал я, – Вы интересный собеседник.

– Сейчас я преподаю, – отозвался он, – До сих пор считаю слова «интересный собеседник» одной из самых сильных оценок; среди студентов моих попадают люди, которым можно это сказать, и даже попадались те, кто понимал силу этого комплимента, – он чуть улыбнулся, – Но вообще я страшный брюзга: уровень развития нынешнего студенчества, – как интеллектуальный так и духовный, – мне представляется если не катастрофой, то серьезной проблемой... И если ходят анекдоты про вечно недовольных современной молодежью профессоров, то это – обо мне...

– Ах, так вы профессор?

– Да, историк. А вы что заканчивали?

– Боюсь вас разочаровать, – улыбнулся я, – Но я из недоучек. Поступал неоднократно и успешно, но нигде не доучился. У меня, знаете ли, в свое время возникли нешуточные проблемы с отцом...

– Здоровье? – спросил он участливо.

– Нет, я имею в виду проблемы моих с ним взаимоотношений. У нас случился разрыв, и настолько серьезный, что... Ну, словом, я пошел путем, который отцу представлялся совершенно немыслимым. Он очень строгих принципов, и мой жизненный выбор счел натуральным предательством его убеждений, интересов, взглядов. Он и по сей день так считает. И я, что называется, отправился бродить по свету. Сейчас я много путешествую... Не могу назвать себя историком, хотя история меня крайне интересует. Археология, астрономия, эзотерика, география, – всего, знаете, понемногу...

– Как педагог и учёный не могу похвалить вашу всеядность, – заметил он, – Копать следует вглубь, а не вширь. Но как бывший студент, сохранивший некий авантюризм и к старости, – скорее её приветствую. Хотя в молодости, будучи от природы последователен, старался сосредоточиться всегда на одном: одной области знаний, одной работе, одной службе. А сейчас... Глядя на ритм и темп современной жизни, думаю, что преуспевать в ней будут как раз эклектики. Слишком мало времени, чтобы углубляться в вещи, и слишком много этих вещей, чтобы всерьёз остановиться на одной...

– Преуспевать? Вы говорите об успехе? Но ведь успех – это внешняя оценка того, что мы делаем, правда? Вам так важна внешняя оценка? Мне всегда представлялось, что люди в возрасте, – не хочу вас обидеть, но вы ведь человек в возрасте, не так ли? – начинают больше внимания уделять не внешней стороне собственной деятельности, и не её успешности, а внутреннему её содержанию... Тому смыслу, который они сами вкладывают в эту деятельность. Что вы об этом думаете?

Он помолчал.

– Знаете, я не думаю, что это вопрос возраста, – произнёс он задумчиво, – Скорее, характера и темперамента. Ваш вопрос заставил меня задуматься: а когда в своей жизни я сам мечтал об успехе? Ну, вот в том смысле, чтобы его непременно достичь?

Представьте: есть я, и есть то дело, которым я занят, и есть некий успех, показатели успешности, которые находятся где-то вовне меня, впереди меня на временной линии, и куда я должен попасть... И вот я ставлю себе цель, определяю план и стратегию, и двигаюсь к этому успеху?

Нет, вряд ли я думал об успехе. Скорее само дело, которым я был занят, и являлось уже целью. Похоже, я считал себя успешным, уже просто занимаясь чем-либо: преподаванием, литературой...

– Вы пишете?

Он помедлил с ответом; ритм разговора сбился, разлетелась в клочья тишина, и грохот встречного состава ударил в полуоткрытое окно. Мой собеседник заметно вздрогнул, как это обычно и бывает в таких случаях, и, кажется, потерял нить. Встречный поезд пронёсся, оставив за стеклом звенящую тишину, – а он так и сидел, в профиль ко мне, вполоборота к окну, чуть нахмутив брови и поджав губы. Я искоса посмотрел на стекло и увидел в тусклое отражение его лица; казалось, он был мыслями очень далеко. Я чуть кашлянул.

– Пишете? – переспросил я, – Прозу? На исторические темы? Ничего, что я любопытствую?

– Простите, – сказал он, вынырнув из забытья и чуть виновато улыбаясь, – Попрошу еще чаю.

Он поднялся, неуклюже, и немного боком, вышел из купе, лязгнув замком двери. Спустя минуту он возвратился, неторопливо сел на свое место, не глядя на меня. Я понял, что последним своим вопросом задел нечто внутри него, некое воспоминание, ему неприятное, поэтому не спешил продолжать.

Мы некоторое время помолчали, глядя в окно.

Удивительная привычка смотреть в ночное окно в освещенном помещении существует только в поездах. Главное и первое, что видишь в таком окне – собственное отражение и отражение предметов за своей спиной, тусклое, цветное и неясное; но сквозь него проступают призрачные силуэты придорожных окрестностей, свечение темного неба, скелеты деревьев. В этом напряженном и притягательном процессе вглядывания за ночное стекло есть что-то от наблюдения фотографа за процессом проявки фотокарточки в ванночке с проявителем. Только на карточке изображение, постепенно вырисовываясь, становится все более чётким и остаётся, проявляется, а поездной пейзаж невозможно окончательно ухватить и зафиксировать взглядом.

Вот сейчас, думает путешественник, небольшое усилие, – и увижу небо, степь, деревья и звезды, и пространство, и путь, через который несет меня поезд... Но взгляд неумолимо упирается в убогий тесный пенал с четырьмя спальными местами попарно друг над другом, освещённый тусклой электрической лампочкой, и напряжённое от вглядывания собственное лицо посередине.

Окончательную победу всегда одерживает не мир, который сквозь стекло пытается разглядеть путешественник, а зеркальное отражение его собственного носа в стекле.

Я отвел глаза от окна.

– Давно вы пишете?

– Как вам сказать, – отвечал он с некоторой неохотой, – Первые опыты – в юношестве... ну, да это у всех так: порывы в стихах, потуги в прозе... Любовь и смерть, страсть и слезы, Бог и дьявол, и тому подобный безумный набор банальностей. В университете, будучи студентом, стал писать очень помногу. Знаете, я готовился на журналиста, но не пошёл, выбрал исторический... Мне понятно было, что словесность – это моё, что с буквами у меня получается лучше, чем с людьми, а журналист, всё же, – профессия прежде всего публичная. К тому же опыт наблюдения мною людей этой профессии...

– Журналистов?

– Да, опыт наблюдения за журналистами показывал, – и с годами я в этом только укрепился, – что степень необходимого для них цинизма значительно превышает ту, что моя душа может себе позволить.

Я, знаете ли, комнатный цветок, – он смущенно улыбнулся, – И ещё одно соображение у меня присутствовало. Мне представляется, что журналист – человек вопроса. Он постоянно задаёт вопросы, ставит их на письме и в интервью: хорошо ещё, если глубокие и правильные... Но такие вопросы исключение, а не правило; а большей частью вопросы эти бездарные и пустые, и суть ответа журналиста не интересует, ему важно задать вопрос... Задай вопрос любого свойства, и ты состоялся как журналист. Вот я и подумал: стоит ли превращать свою жизнь в череду вопросов, тем более вопросов крайне сомнительного качества, вместо того, чтобы искать ответы? И пошёл на исторический – искать ответы...

– Понимаю, – сказал я, – Но тут как раз мы с вами разошлись. Я если и могу себя как-то определить профессионально на данный момент, то именно как журналиста. Причем олицетворяю именно тот тип, который вам наиболее неприятен, как я понял: журналист-интервьюер, журналист-провокатор.

Он улыбнулся.

– Что же до вашего вопроса: я писал, и много, – продолжал он, – Пишу по сей день; но как мне представляется, пишу в стол. Знаете, я не предлагал свои вещи к публикации. По-видимому, я совершенно лишён литературного честолюбия, но это так. Мне представляется, что творчество, способность к нему – это не средство обретения известности и славы, не средство прокормиться... Это дар, который мы просто обязаны реализовать: написать, сочинить, придумать, изобрести... Возможно, ближе к окончанию своей жизни я и начну пытаться опубликовать что-то из написанного, пытаться поделиться этим. Многие говорят, и справедливо, что именно страх смерти побуждает нас реализоваться в текстах, в книгах, оставить после себя строчки, страницы... Возможно: пока же я делюсь собою, своими мыслями только с бумагой; похоже, этого мне и довольно...

– Вы и впрямь нечестолюбивы, – заметил я, – А на мой вкус, отсутствие честолюбия в человеке творческом недопустимо – как, впрочем, и в любом другом. Подумайте: может, именно ваших слов и ждут? Может, именно ваши тексты призваны сделать кого-то лучше, чище, мудрее?

А может, вами движет не отсутствие честолюбия, а боязнь быть непризнанным? Отвергнутым? Потерпеть неудачу у издателя? У читателей? Быть может, вы не верите в себя?

Я говорил возбужденно, быть может, чуть более горячо, чем следовало. Он слушал, не перебивая.

– Неужели вы и здесь не видите несправедливости? – продолжал я, – Неужели вас не смущает, не ранит то обстоятельство, что публикуются бездарности, что книжные лавки и магазины завалены макулатурой? Люди, которые не имеют ни таланта, ни малейших способностей, но имеют наглость – да, не побоюсь этого слова, – и величайшее самомнение, чтобы просто начать писать... любую ерунду, любой набор букв, лишь бы присутствовали существительные и глаголы: «Он пошел», «она сказала», «он засмеялся», «они умерли»...

И вот на фоне этой всепоглощающей бездарности, люди глубокого ума, тонкой души, подобные вам, остаются неслышанными, незамеченными, не публикуются, не разделяют с нами, читателями, свой мир... Неужели вас это не ранит? Не злит? Проклятье, даже я испытываю досаду, хотя ситуация не относится ко мне прямо... Как же, должно быть, досадно и обидно вам!

Я замолчал, перевёл дух и глотнул из стакана остывшего чая. Спутник мой молчал, глядя чуть в сторону; выражение его лица оставалось неопределённо.

Наконец он глянул на меня, и я увидел, как к уголкам его глаз сбежались морщинистые лучики, а сами глаза заиграли весёлыми и чуть насмешливыми искорками.

– Знаете, – сказал он, – Я представил сейчас вашу тираду в собственном исполнении... Нет, когда это звучит от постороннего человека, это можно выслушать и даже в некотором роде начать сопереживать. Но поверьте, я и представить себе не могу подобного – от себя...

Да. Видите ли, я безумно далек от мысли переживать о себе как о несостоявшемся литературном гении. С меня довольно самого процесса творчества. Это может показаться вам кокетством, вы можете подумать, что я кривлю душой, рисуюсь – нет, поверьте. Во-первых, я действительно люблю сочинять и наслаждаюсь процессом. Знаете, мне представляется, что слова и буквы – очень могущественный инструмент, по какому-то недоразумению попавший в людское пользование. Сказано же: «И слово было у Бога»... Ну вот, а мы получили его в свое распоряжение и легкомысленно посчитали, что можем, подобно Создателю, при его посредстве создавать и разрушать миры... Никому из живущих это еще не удалось: но магия в этом процессе есть, и эту магию я и стараюсь – нет, не постичь, но хотя бы прикоснуться к ней. Уверен, так делают тысячи, если не десятки тысяч...

Нет, поверьте, я очень хочу быть прочитанным. И понимаю, что для этого надо быть опубликованным. Но, и это во-вторых: у меня уже есть как минимум один читатель. И я уверен, что он читает все, что я пишу, а многое даже, возможно, и одобряет...

– Снова метафизика, – заметил я, – Вы о Боге, полагаю? Утешение непризнанного литератора: «Зато меня читает Бог»?.. Простите, но этак мы уйдем от действительности крайне далеко...

– Да, но вы не дослушали, – продолжал он, – Этот читатель, он также, как вы догадываетесь, и самый могущественный издатель и распространитель. И у меня нет сомнений: если то, что я делаю, представляет хоть какую-нибудь ценность – это будет опубликовано, будет прочитано рано или поздно. А цели прославиться литературным трудом, равно как и заработать им, у меня, как вы опять-таки, вероятно, догадываетесь, нет... Так что и получается, я кругом в выигрыше.

Он уже почти открыто смеялся. Я смотрел на него с недоверием.

– Пусть так, – произнес я наконец, – По-видимому, судьба Кафки представляется вам вполне приемлемым вариантом. Что ж, прославиться после смерти – тоже в меру честолюбивый вариант, и это я принимаю. Правда вопрос еще, найдется ли для вас свой Макс Брод...

– Да нет же, – отозвался он, – Мои честолюбивые планы не выходят за пределы собственной жизни, и идея посмертного признания не греет меня совершенно. Я просто пытаюсь принести пользу своим литературным трудом, – а степень полезности пусть определяют без меня.

Кафка, кстати, тоже неудачный пример: у меня нет никаких требований к душеприказчикам по уничтожению моего литературного архива. Нет, не хочу себя редактировать... Если будут публиковать, пусть публикуют всё: не прочтя дури и бессмыслицы, не увидишь и разумного зерна...

Он начинал меня злить.

– Вы опять смеётесь, – сказал я, – Ладно, не хотите серьёзно, как хотите. Честное слово, странно видеть творческого человека, настолько бестрепетно относящегося к результатам своего труда. По-моему, это начинает походить на юродство. Вы или лицемерите и пытаетесь произвести на меня благоприятное впечатление... хотя зачем вам это, благоприятное впечатление на случайного поездного попутчика много моложе вас? ...или совсем уж неприятно относитесь к жизни.

Я внимательно посмотрел на него.

– Вы не испытываете, по вашим словам, ненависти и презрения к женщине, предавшей вас и разлучившей вас с детьми. Вы пишете в стол и не испытываете ни досады, ни уныния по поводу того, что вас не печатают. Вы не чувствуете жалости к себе? Вас не гложет честолюбие? Вы святой? Простите за прямоту... Можете считать, что это профессиональная провокация журналиста, но ответьте мне: вы и вправду не считаете, что жизнь к вам несправедлива?

И в вас действительно нет презрения к этой жизни? Вы человек в возрасте... А я редко встречал людей в возрасте, – за исключением полных кретинов, – которые не разочаровались бы в жизни к пятидесяти годам... Вы исключение?

Он молчал и смотрел, по своему обыкновению, чуть вниз и в сторону; по его лицу сложно было прочесть что-либо.

– Хорошо, допустим, вы не относите себя к ортодоксальным христианам, – продолжал я, – В самом начале нашего разговора, если помните, мы затронули эту тему. Вы ещё сказали, что, при наличии множества не слишком отличающихся друг от друга религий, считать одну из них единственно верной, а все другие ложными, психически здоровый человек не может. Прекрасная мысль, позвольте с ней вновь согласиться. Но будучи человеком с университетским образованием, будучи человеком научного склада ума, вы ведь не можете не иметь собственной концепции Бога? И наверняка её имеете?

Все мы прекрасно понимаем, что старина Гёте был прав, и сущее не делится на разум без остатка, – так что же в этом остатке для вас? И разве Бог в вашей картине мира – справедлив? Может ли быть справедливым и любящим божество, которое распространяет вокруг себя запах горелого мяса? Бесконечные войны, эпидемии массовые убийства, трагедии мирового масштаба и, – что еще страшнее, – трагедия отдельного человека: его болезнь, нищета, невозможность реализоваться, предательство, крушение надежд и планов, непризнанные и неиспользованные таланты...

Меня крайне удивляла всегда эта дуальная концепция в отношениях Бога и человека, а вас нет? Человек может и даже обязан попросить, а Бог, видите ли, слышит и обязательно исполнит. С различными вариациями этот, с позволения сказать, суррогат скорой помощи и справочного бюро кочует из религии в религию, а их адепты все просят, и просят, и обращаются... Но вот получают ли? И вы не готовы признать, что этот мир несправедлив и безумен, а Бог, его сотворивший – жестокий мальчишка, отрывающий крылья и головы мухам и получающий удовольствие от того, как они беспомощно елозят по подоконнику?..

Купейная дверь неожиданно с треском отъехала в сторону, разгоряченная усатая физиономия просунулась в нее, ойкнула, извинилась и поспешно исчезла, оставив за собой ошутимый коньячный шлейф; в коридоре послышался короткий взрыв басистого смеха, топот нескольких пар ног удалялся по вагону. Очевидно, уже закрывался вагон-ресторан.

Спутник мой пошевелился и выглянул из тени верхней полки, где до этого было скрыто его лицо. Уголки его губ были по-прежнему чуть иронично приподняты, но глаза смотрели очень серьезно.

– Что же, – сказал он, – Хотите, я вам расскажу о своем образе Всевышнего?.. Ваша метафора о мальчишке... Это слишком в унисон с тем, что я собираюсь сказать. Я могу рассказать, и мне это пришло не в мистическом каком-то озарении, не в откровении – у меня не было, к сожалению, мистических откровений за все пятьдесят с лишним лет моей жизни... Это выдуманно.

Он помолчал.

– Представьте себе мальчика. Тяжело больного мальчика лет восьми или десяти. Он лежит в кровати, в бреду, в горячке, в лихорадке. Он пышет жаром, на лбу у него испарина, глаза закрыты, губы обметаны белым. Он спит или в полубеспамятстве, дыхание у него хриплое, неровное. И вы сидите рядом с ним на кровати. Прекрасный, милый, трогательный мальчик – и очень больной. Представили?

А теперь представьте, что кроме вас и него нет на свете вообще больше никого. И ничего. У него нет никого родных, вокруг вас нет врачей, у вас нет лекарств, таблеток, меда, горячего молока, – что там ещё нужно, чем лечат тяжелобольных детей? Вам некого пригласить, некого позвать на помощь, и лечить его вам – лекарственно лечить – тоже нечем.

Да. Мы сидим – каждый из нас – сидит у кровати больного маленького мальчика. Каждый из нас. И гладит его по голове, и обнимает, и приговаривает: «Не болей, маленький. Не болей. И не бойся. Я всегда буду с тобой, я никогда тебя не оставлю. Ты сейчас спи, а потом проснёшься, и тебе будет лучше. И всё у нас будет хорошо. Всё всегда будет хорошо. Я тебя не брошу, не оставлю. Я тебя люблю. Я тебя люблю, мой хороший. Я очень тебя люблю». Шепчете это как молитву, как заклинание, снова и снова, потому что больше помочь вам этому ребенку нечем. Понимаете? Вот только этими словами, только своей любовью мы можем ему помочь. Вылечить его, чтобы он открыл глаза, посмотрел на нас, задышал свободнее...

Он глянул на меня широко открытыми глазами, резкая складка обозначилась у него на лбу.

– Так вот: этот ребёнок и есть Бог. Чем вам может помочь тяжелобольной ребенок? Что он вам может дать? От чего он вас может защитить, избавить, спасти и сохранить? А вот мы... Мы своей любовью – как же банально это звучит, но других слов подобрать я не могу, – мы своими объятиями, своим участием, да хотя бы самим своим присутствием у его постели можем сделать ему лучше! Понимаете? Мы не спим ночь, клюём носом, вздрагиваем, смотрим – как он там? И все наши душевные силы, вся наша энергия направлены только ему! И мы постоянно с ним говорим, мы ему шепчем: милый, родной, потерпи, все будет хорошо: я с тобой, я люблю тебя, я очень тебя люблю...

И вот все эти наши так называемые диалоги с Богом, которые в действительности, конечно же, только монологи, все эти наши молитвы и просьбы – бессмысленны и пошлы. Монолог у постели больного мальчика, направленный в помощь ему – вот истинная молитва! «Господи, что мне сделать, чтобы тебе было хорошо? Господи, что мне, что всем нам сделать, чтобы тебе стало легче? Мы отдадим тебе всю свою любовь, мы укрепим тебя, мы все свои душевные силы направим на то, чтобы тебе было немного легче, и ты взглянул на нас...»

Нет, не немного легче, а полностью: ведь вы хотите, чтобы ваш мальчик полностью выздоровел, чтобы он встал с постели, бегал, прыгал, смеялся, ведь так? «Возьми нашу любовь, Господи, возьми наши силы, чтобы мы увидели тебя, наконец, во всей твоей силе и славе...»

Он замолчал и отвернулся к окну. Длинные узкие пальцы его захватили со стола салфетку, подтянули к ладони, судорожно скомкали в тугой шарик. Я глянул искоса на тусклое отражение его лица в ночном окне, пытаюсь понять, что в его глазах. Шарик выпал на стол. Он повернулся ко мне и улыбнулся виноватой улыбкой.

Я улыбнулся в ответ, стараясь, чтобы это получилось ободряюще.

– Прекрасный образ, – сказал я осторожно, – Я признаться, впечатлён силою вашего воображения. Подобной трактовки образа Господня и наших с ним отношений мне слышать не доводилось. Но позвольте спросить, отчего же болеет этот ваш мальчик? Болен он, по-вашему, тяжело, и тому есть причина, вероятно. Вы находили этому объяснение для себя?

Позвольте, я постараюсь угадать вашу мысль... Мальчик болен, вероятно, из-за того количества мирского зла, которое творится вокруг него? ...которое мы творим? Ему, вашему Богу, душно в той атмосфере, которую мы создали своей жизнью? В этой атмосфере душевного смрада, предательства, алчности, злобы и цинизма он и не может быть никаким, иначе как тяжело больным... Это имеет в виду ваше воззрение?

– Полагаю, это очевидно, – произнес он после некоторой паузы, – Да, мы виноваты в его болезни. И ещё более виноваты в том, что настойчиво, упорно, отчаянно возлагаем на него свои надежды по устройству наших дел – именно тех дел, собственно, из-за которых он и пребывает в тяжкой болезни...

\*\*\*

Он вышел рано утром, на небольшом провинциальном вокзале, не доезжая двух часов до столицы. Было уже светло, но небо хмурилось; он поднял воротник пальто, взял свой потрепанный саквояж и протянул мне руку.

– Желаю вам всего хорошего, – сказал он, – Надеюсь, я не слишком надоел вам полным разговором.

– До свидания, – отвечивал я, – Спасибо вам. Я подумал о вашей концепции... Полагаю, ни один священник ни одной конфессии не согласился бы с вами. Сомнения во всемогуществе Божьем в любой церкви есть одна из опаснейших ересей. А в вашей трактовке не то, что нет никакого могущества, а даже и намек на него. Больной мальчик... Тут понятно, что помощи самому ждать неоткуда – мальчика надо спасать...

– Знаете, я давно перестал считать мнения священников любой конфессии определяющими и даже сколь-нибудь значимыми для собственного понимания Бога, – ответил он задумчиво, – Лышу себя надеждой, что не впал тем самым в гордыню. Что мои попытки найти собственные ответы на вечные, проклятые вопросы не есть люциферов бунт, а всего лишь бунт беспокойного ума, ищущего истины... И, смею надеяться, сердечный крик.

Вот оно, подумал я. Люциферов бунт. Опять. Как же они однообразны!...

– Люциферов бунт? – повторил я медленно, – Нет, безусловно, нет. Вы всего лишь нарушаете конфессиональный этикет, – а это слабовато для масштабной акции... Ваша попытка обрести собственное мнение и получить личные ответы? Да, но и она не бунт, для бунта тоже мелко...

– Что?

– Нет, ничего, – сказал я, глядя ему в переносицу, – Так, личные воспоминания. Даже, я бы сказал – личный опыт. Впрочем, боюсь, я вас задерживаю... Всего хорошего.

Он с минуту посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Догадался, что ли...

И вышел.

Путешествуя в поезде, люди начинают чувствовать время; путешествуя в поезде, люди начинают слышать биение сердца; стук вагонных колес в равной степени напоминает и то, и другое; и спрятаться от этого звука путешественнику совершенно невозможно... И текут, продолжаются разговоры в поездах и в ресторанах, в каретах и в тавернах, и в садах, и в галереях, и в грязных притонах, и на мраморных верандах с видом на блистающий залив Эгейского моря, и унылых ветхих покосившихся лачугах азиатских провинций, и в богатых, и в бедных домах, разговоры с людьми, отчаявшимися от невозможности получить хоть что-то, и разговоры с людьми, отупевшими от невозможности хоть что-то ещё захотеть...

\*\*\*

Разговоры, подобные этому, я веду постоянно; количество таких разговоров невозможно представить даже приблизительно, ибо я веду их тысячи лет.

Все эти разговоры я веду по одному сценарию, и оттого они чрезвычайно похожи. Я положил за правило задавать собеседнику три вопроса; точнее, делать ему три предложения; если быть точным вполне, это трехкратное предложение одного и того же.

И, знаете, редко кому приходится предлагать даже второй раз... Как правило, уже с первого раза они согласны на всё: я вижу, как загораются, вспыхивают жизнью совсем было уже угасшие их глаза, как оживают измученные лица.

Характер того, что предлагаю я, не меняется тысячелетиями.

Для одних предмет желания – союз с возжеленной особой, мужчиной или женщиной; забавно, но многие из них до сих пор стесняются, когда половая принадлежность объекта вожделения совпадает с их собственной.

Для других это – желаемый акт творчества: написание книги, создание скульптуры или художественного полотна, которые прославят их в веках и оставят их имена потомкам. Многие даже согласны не на прижизненную, а на посмертную славу. Чудаки, какой в том резон? мне совсем не сложно сделать это *augenblicklich*<sup>1</sup>, пусть наслаждаются при жизни. Но их удивитель-

---

<sup>1</sup> Немедленно (нем.)

ное (для меня) восприятие времени позволяет им думать, что написанное ими или выточенное ими из камня переживет их на несколько поколений. Они всерьез склонны полагать, что творят для вечности, хотя плоды их творчества сгниют в памяти потомков немногим позднее, чем сгниют в могиле кости этих творцов! Пусть так, я оставляю их в этом заблуждении. Тем более, что все реальные подтверждения моих слов у них перед глазами: умному достаточно.

Для третьих пределом мечтаний выступает богатство: таких во все времена было больше всего. Я их понимаю, – но мне они неинтересны, это люди без фантазии. Когда деньги ввели в оборот как средство обмена на реальные ценности, помню, я пошутил, что со временем люди объявят их универсальным решателем всех проблем. Как оказалось, моё слово тоже способно творить, даже и в шутку произнесённое: сегодня невозможно представить себе проблему, которую они не готовы были бы решать при помощи денег, – хотя при помощи денег нельзя решить ни одной. Примеры опять-таки у всех них перед глазами, и опять-таки, *sapienti sat*.

Но наиболее интересны, всё же, вожделирующие власти. Эти экземпляры нечасты и штучны: я хочу сказать, те из них, которые имеют адекватное представление о том, что просят; большинство же под властью понимает всего лишь высокий пост в своей канцелярии, в лучшем случае, выборный пост в местном Буле или как там это у них сейчас называется. За этими штучными экземплярами потом бывает очень интересно наблюдать; кое-кто из них последующими делами своими вызывает легкую зависть даже у меня. А впрочем, что это я? не зависть, а наставническую гордость, какую испытывает цирковой укротитель с сорокалетним стажем за юную собачку, впервые прыгнувшую на арене через обруч...

Что же касается того, что я прошу взамен, то тут несколько сложнее.

Те, кто ни разу со мной не встречался, искренне считают, что я попрошу у них душу. Удивительно, ибо, во-первых, как можно попросить и отдать то, чего нет?.. Во-вторых, если бы она и была, такое количество душ, да еще и мёртвых, потребно только для реализации какой-нибудь хитрой финансовой операции, вроде описанной русским писателем Гоголем; мне же они точно ни к чему.

В последние пару тысяч лет люди – все-таки они существа обучаемые – начали замечать счастливые для них последствия встреч и бесед с моей скромной персоной. Теперь от стремящихся встретиться со мной и загадать желание просто отбоя нет. Признаться, когда всё только начиналось, я подумывал о том, что вербовать сторонников будет проблемой; я полагал, что мне будет сложно находить, убеждать, уговаривать. И что же? Теперь проблемой стало хоть немного сократить или хотя бы упорядочить поток желающих.

Однажды Он с раздражением бросил мне, что такой наплыв оттого, что они не ведают, что творят: дескать, я убедил их в том, что я не существую.

Помню, я весьма остроумно ответил Ему, что в последние сто лет и Он сам сумел убедить всех в том, что Его не существует....

Так вот, вербоваться стало гораздо больше народу, но я не жалею, – нет, не жалею на загрузку.

Мне нравится думать, что я делаю их счастливыми; я придумал даже игровой вариант для самых маленьких. Раз в год, зимою, можно написать письмо смешному добродушному старичку-волшебнику, и он непременно его выполнит. Ну а когда дети вырастают и перестают верить в волшебников, в игру вступаю я; дело в том, знаете ли, что с верой в волшебника расстаться можно, а с верой в волшебство – нет.

Причем вера в меня с годами у людей только крепчает, как я замечаю.

Однако такой наплыв потенциальных желающих заключить контракт, – не знаю, почему они это так называют, к юриспруденции этот процесс не имеет даже отдаленного отношения, – заставляет меня корректировать собственные запросы.

Видите ли, уже нет никакого смысла просить поклониться себе три раза, как того хилого арамейца, история разговора с которым каким-то образом попала в печать и до сих пор будо-



ражит умы. Теперь по-другому. Сегодня я ещё не закончу предложения, а они уже расшибут себе лоб об пол: и никакого интереса в этом для меня давно нет.

Поэтому приходится изобретать что-то новенькое, для разнообразия процесса. Во главу угла, как и прежде, приходится ставить нечто, чем я мог бы максимально досадить Ему, – что ж, ничего не могу с собой поделать...

А Его, знаете ли, повергает в наибольшее смятение их стремление жаловаться.

С Его точки зрения, у них есть все и даже больше, и когда я показываю Ему обратное... Когда они с нескрываемой ненавистью к бывшему возлюбленному шипят о неудавшейся любви, когда они, со слезами непризнанных гениев, стонут о неопубликованном романе, когда они с пронизательным философским блеском в глазах отрицают разумное начало в столь несправедливом для них мире... И Он видит всё это!.. Разве это – не поклон мне? Нет, это больше чем поклон! это глубокое преклонение колен, с многократным выходом на бис, с дрожащей лицедейской слезой в уголке глаза и с беспамятным наслаждением бурными овациями восхищенного зала, из которого я бросаю им огромные букеты цветов и кричу им «Bravo! Bravo!»...

Но вот разговоры, подобные сегодняшнему, меня все еще изумляют, и собеседники, подобные встреченному в поезде, не дают мне покоя.

Я не могу понять, не могу взять в толк: почему они не принимают моей помощи? Что заставляет этих с виду серьезных и умных людей, вся жизнь которых опровергает тезис «им дано всё и даже больше», не жаловаться мне и не прибегать к моему покровительству? Или в них непомерна гордыня, которую столь часто ставят в упрек мне?

Я не прошу многого, если быть точным – не прошу почти ничего. Я хочу лишь, чтоб они признали, что окружающий их мир жесток, несправедлив и направлен против них. Хочу, чтоб они поверили в свою исключительность и в то, что заслуживают большего; наконец, чтобы они приняли мою помощь и покровительство, ибо только я могу дать им все в этом мире; ибо только я князь мира сего.

Почему же они предпочитают богатству – нищете, удовлетворению любовного вожделения – одиночество, славе – безвестность, величию – забвение? Или они знают и имеют в себе нечто такое, что открывает им любые двери без моего посредничества? Или они вообще не хотят открыть эти двери? Или они и не подозревают о существовании этих дверей? замков? ключей?

Я и Его, конечно, спрашивал об этом... Он сказал, что тоже не понимает.

## МАГАЗИН ВЕСЁЛОГО ЙОЗЕФА

*Как мне увидеть тебя,  
Когда прожектор прямо в лицо?..*

*Б. Гребенищikov*

Даже не знаю, что меня побудило свернуть на ту улицу.  
Словно бы пихнул кто-то в бок.

Брожение туриста по уже знакомому, не раз пройденному, но по-прежнему чужому городу, за сутки до отъезда, – ломаная кривая. Ты как бы пытаешься ещё раз запечатлеть всё ранее увиденное, сфотографировать на свой внутренний фотоаппарат, увезти с собой частичку этого места домой. И идёшь хаотично, петляя, передвигаясь от одной достопримечательности к другой, останавливаясь в местах, которые поразили и привлекли тебя при первой с ними встрече, пытаешься возродить те же ощущения, что испытал тогда.

Но не выходит.

И жара – самое неприятное, что может случиться после полудня в каменном городе. От нагретых булыжных мостовых поднимается дрожащий воздух, двухсотлетние надменные, но приземистые дома не создают тени в пространстве площадей; только на узких петляющих боковых улочках она прячется, пусть и душная, и пыльная, но, всё же, спасительная. В такую спасительную тень, на такую боковую улочку мы и нырнули.

А тут ещё Лу.

В своих драных джинсах, с вызывающе голыми щиколотками, торчащими из-под ядовито-огненных кроссовок с жёлтыми шнурками, с вихляющей мальчишеской походкой и огромным рожком вафельного мороженого в руке. Мороженое, разумеется, стремительно тает, стекает по руке и капает на мостовую, и Лу подхватывает его, чуть ли не на лету, своим змеиным языком, косясь на меня огромными зелёными глазами. И плетётся, как всегда, чуть сзади, как бы не со мной, и как бы нехотя.

– Пойдём сюда, Лу, – говорю, – Там тень.

Щерится, мычит. И энергично мотает вверх-вниз головой, ибо произнести ничего не может битком набитым ртом. Выглядит Лу при этом так, что на моём лице отражается, видимо, смесь смеха с осуждением, отчего Лу фыркает, а брызги мороженого разлетаются во все стороны.

Ребёнок-фугас. Обезьяна с гранатой.

Мы прошли по этой маленькой боковой улочке метров сто, наверное, когда я и увидел эту фанерную вывеску-указатель, криво наклепленную на фонарный столб:

«Магазин весёлого Йозефа».

И чуть ниже, косыми зелёными буквами:

«Очки и оправы на любой вкус».

Повернув голову в ту сторону, куда указывала фанерка, я увидел невесть как втиснувшийся между двумя каменными домами фасад магазинчика: со стеклянной, слегка грязноватой, признать, витриной, и пёстрым полосатым навесом над входом.

Я несколько секунд смотрел на него, силясь понять, что же смущает меня в этой, с виду вполне обыкновенной, магазинной витрине. Словно бы неведомый волшебный силач раздвинул ладонями стены соседних домов и аккуратно, двумя пальцами, вложил этот магазинчик между ними. Ни эти дома, ни сам магазинчик по отдельности не выглядели странно, но всё вместе производило впечатление чего-то бутфорского, неестественного.

Собравшись было двигаться дальше, я обнаружил, что Лу совершенно спокойно подходит уже к дверям магазинчика и, остановившись под навесом в тени, запихивает в рот остатки мороженого.

– Зайдём? – неуверенно спросил я, хотя, по неизвестной мне причине, желания заходить в эту лавку я в себе не ощущал.

– Угумн, – мотает головой, торопливо прожёвывая, косясь на меня смешливыми кошачьими глазами.

Ну, зайдём.

Над дверью гостеприимно звякнул колокольчик. Первое, что я ощутил, – блаженная прохлада, царившая внутри. Лавка изнутри оказалась небольшой, хотя такую высоту потолка при взгляде снаружи предположить было никак нельзя. У меня даже появилось искушение немедленно выйти наружу и снова посмотреть на магазин с улицы, – однако я счёл это глупостью.

Слева от входа помещалась массивная деревянная стойка, за которой штабелями стояли картонные коробки, а прямо на ней – запylённый антикварный телефонный аппарат и электрический чайник рядом. Всё небольшое пространство магазинчика было заполнено лёгкими пластмассовыми стеллажами, на которых, в несколько рядов на каждом, пестрели очки: солнечные, оптические, спортивные, самых разных цветов, форм и размеров.

За стойкой никого не было.

– Здравствуйте, – громко сказал я, доброжелательно вглядываясь в сумрак маленького зала, к которому ещё не успели привыкнуть глаза.

Протопав мимо меня, клетчатая рубашка Лу уже петляла между стеллажей, словно кафтан заблудившегося гнома в лесу.

– Здравствуйте! – повторил я и, вздрогнув, увидел прямо напротив себя за стойкой длинного худого человека, в жилетке и рубашке с закатанными по локоть рукавами. Я готов был поклясться, что секунду назад там никого не было.

– Добрый день, любезный сэр! – торжественно ответил тот, расплываясь в широкой улыбке, – Я Йозеф. Позвольте вам помочь.

– Да, спасибо, – несколько оторопело произнёс я, – Но вы не беспокойтесь: мы не покупатели, а, скорее, зеваки: шли мимо, случайно наткнулись на ваш магазин...

– О, ручаюсь, любезный сэр, что я смогу заинтересовать вас, – живо откликнулся тот, продолжая приветливо улыбаться и потирая возле груди длинные узкие ладони, – И вас, и вашего... вашу... – он вгляделся в сторону Лу, чья вихрастая голова уже вертелась возле зеркала, прикрепленного к дальней стене зала.

– Это Лу, – сказал я, – Лу, ты подойдешь?

– Не-а, – донеслось от зеркала, – Я тут.

– У меня как раз новые поступления, – продолжал хозяин магазинчика, выходя из-за стойки и приблизившись ко мне, – Нигде в городе вы не найдёте такого прекрасного ассортимента, как у Йозефа: рискну сказать, что мой товар не только красив, удобен и моден, но даже и уникален. Да-да, уникален, любезный сэр! Позвольте предложить вам примерить хотя бы эту пару...

Он легким жестом фокусника выхватил с ближайшего стеллажа огромные темные очки, в громоздкой оправе, и протянул их мне. Я нерешительно взял.

– Спасибо, но я... Мы... – пробормотал я, оглядываясь в сторону Лу, – Право, неудобно занимать ваше время.

Я терпеть не могу примерять и прицениваться в магазинах, где не имею намерения покупать. Но если уж Лу в магазине, раньше Лу мне всё равно магазин не покинуть – это уж проверено десятками магазинов. Да и хозяин так мило склонил голову, с ожидающей улыбкой, что я покорно повернулся к зеркалу и водрузил очки на нос.

Я и раньше ощущал, что в магазине прохладно, – но ледяная дрожь, прошедшая у меня по спине, совершенно никаким образом не вызывалась температурой воздуха. В горле у меня возник тяжёлый ком, который я никак не мог слотнуть. Мне показалось, что высоченный до этого потолок опустился чуть ли не на голову мне, хотя я отчётливо понимал, что этого не может быть.

Я вспомнил всё, о чём едва забыл за время поездки: и просроченный кредит, из-за которого банк уже вовсю грозил мне судом, и предстоящее медицинское обследование отца, с его подозрением на опухоль, и подозрительную семью эмигрантов из Алжира, вселившуюся в квартиру ниже два месяца назад...

Повернувшись к хозяину, я вдруг явственно понял, насколько фальшива и неискренна его показная улыбка. Я вдруг увидел на тыльной стороне его кисти ранее не замеченную мною татуировку: что-то вроде паутины и полустёртых букв, от которой совершенно недвусмысленно веяло тяжёлым уголовным прошлым, – а может, даже и настоящим.

А потом я понял, что Лу убивают.

– Лу!! – заорал я неистовым голосом.

– Простите, сэр! – раздалось над самым моим ухом, и я понял, что хозяин Йозеф тем же самым своим цирковым жестом смахнул с моего лица очки.

– Чего? – раздалось с другой стороны, и я увидел, словно очнувшись ото сна, огромные недоуменные глазищи Лу.

Наваждение прошло.

– Что это было? – недоумённо спросил я.

– О, это совершенно новое поступление! Не правда ли, прекрасная пара? – по-прежнему доброжелательно осведомился Йозеф, крутя перед моим носом только что примеренными мною очками. Со стороны Лу слышалось то ли недовольное фырканье, то ли насмешливое хрюканье.

– Как вы это делаете? – спросил я, – Это фокус?

– Простите, сэр?..

– Я имею в виду... Я сейчас почувствовал... Когда надел эти очки... Впрочем, всё это ерунда, – попытожил я, видя его недоумённое выражение лица, – Спасибо, но мы, пожалуй, пойдём.

– Одну минутку! Только одну минутку, любезный сэр! Позвольте попросить вас примерить ещё и вот эту пару! У туристов много свободного времени: почему бы не провести его в гостеприимной лавке весёлого Йозефа, хозяин которой вам так рад? Только вот эту пару, прошу вас, сэр!

Он так и крутился передо мной, протягивая мне уже другую пару очков: круглых, в тонкой металлической оправе, весьма напоминающих те, которые носят слепцы.

– Нет, эти мне...

– Только примерьте, сэр! – горячо произнёс он.

Вздыхнув, я взял у него из рук очки и аккуратно нацепил дужки на уши.

Очки выглядели тёмными: но надев, я понял, что все очертания окружающих предметов я вижу в них совершенно явственно. Вот только цвет окружающего мира куда-то пропал: всё вокруг сделалось серым, тусклым, бесцветным. Я взглянул на Йозефа, и поразились той бесконечной скорби, прямо-таки смертельной тоске, которая запечатлелась на его лице. Да и сам он выглядел каким-то жалким, больным, раздавленным; а витрина магазина за его спиной вдруг оказалось не просто слегка запylённой, какой выглядела с улицы, а откровенно грязной, с давнишней паутиной в левом верхнем углу и прожжённым подоконником. От окружающего мира на меня повеяло такой дикой тоской, что внезапно стало совершенно непонятно, как и для чего в этом мире вообще можно продолжать жить.

Впрочем, я уже начинал догадываться, в чём дело. Это становилось интересным.

Бережно сняв очки, я медленно сложил дужки и уставился на хозяина.

– Может, вы всё же объясните мне?... – сказал я.

На этот раз он уже не стал делать недоумённый вид. Он осклабился.

– Поверьте, сэр, я нарочно начал именно с этих двух пар, чтобы вам было проще оценить другие, – вкрадчиво проговорил он, – Не изволите ли примерить и эту пару? Всегда, знаете ли, полезен контраст: и в еде, и в людях, и во времяпровождении, хе-хе... Примерьте, сэр: когда ещё вам доведётся посетить лавку весёлого Йозефа! Хороший шопинг требует времени, тем более, что ваша... ваш... тоже весьма интересуется моим товаром.

– Да! – спохватился я, – Лу! Ты там примеряешь очки?!

– Ну да, – донеслось вальяжно-надменное, – А чего?

– Не извольте беспокоиться, сэр! – горячо зашептал мне почти в ухо хозяин, – Только для вас, лично для вас самый лучший товар и эксклюзивный выбор! Ничего такого для вашей... вашего... Там, в зале, самые обычные очки, просто очки – никаких специальных впечатлений! Впечатления – только для вас, сэр!

Я угрюмо посмотрел на него.

– Вы издеваетесь?

– Ничуть! – торжественно отвечал он, протягивая мне двумя руками, как орден на подушечке, очередную пару.

Я взял из его рук очки в ярко-розовой оправе, напоминающей причудливо раскинутые крылья волшебной бабочки, и повертел их в руках. Он утвердительно кивнул.

Я не спеша надел очки, уже предполагая, что именно увижу.

Солнце, до этого словно бы обходившее стороной и улицу, и магазинчик на ней, блинуло ярким лучом прямо в витрину, – прозрачную, огромную, чисто вымытую, – разлетелось на десятки солнечных зайчиков на потолке и на стенах. Антикварный телефон, стоявший на стойке, вдруг мелодично зазвонил, – по-моему, «Ах, мой милый Августин», – и хозяин, выждав несколько мгновений, словно бы наслаждаясь мелодией, и даже слегка пританцовывая, снял трубку всё тем же своим элегантным жестом фокусника.

– Аллю! – комично морщась, произнёс он, – Лавка весёлого Йозефа! Да, добрый день, мадам! Конечно, мадам! Ваш заказ уже пришёл, и знаете что?.. У нас для вас прекрасная новость! Отпускные цены снизились, так что нам удалось получить ваш заказ по цене ниже уплаченной вами! Разницу мы с удовольствием и радостью вернём вам, как только будем иметь честь видеть вас в нашем магазине! Или вы можете заказать доставку на дом, и посыльный будет у вас не позднее завтрашнего дня... Хорошо, мадам! Прекрасно! Ждём! Удачного дня и хорошего настроения!

Он повесил трубку и улыбнулся мне еще шире, нежели это казалось физически возможным, – а я вдруг понял, что стою сам с такой же улыбкой до ушей, обращённой в его сторону. Боже, как здорово, что мы сюда зашли, подумал я. Вот так бродишь по городу, смотришь достопримечательности, которыми кормят туристов, а лучшая и прекрасная жизнь, – она ведь всюду, она в каждом дворике, в каждой улочке, в любом магазинчике, в улыбке незнакомого человека! Как же мы не замечаем, сколь прекрасен мир вокруг? Сколько упускаем за своей постоянной беготнёй, суетой, стяжательством!... Мир – он уже целен, он уже прекрасен, а люди... Если вдуматься, то любой встреченный, вот хотя бы этот симпатичный старикан, – это целый мир, заслуживающий внимания, могущий дарить любовь и заслуживающий любви! Если бы мы только были внимательней друг к другу, впрочем...

Впрочем, подумал я, и снял очки.

– Да, – сказал я осторожно, протягивая очки ему и стараясь не смотреть на него, – Это впечатляет. Честно – впечатляет. Эти – розовые, понятно. Насколько я понимаю, первые были... страха, что ли? Те, огромные? У страха глаза велики, да?... Остроумно... Вторые – серые... Тоска, да? Депрессия? Оригинально... Но всё же: как, чёрт возьми, вы это делаете?

Это гипноз? Вы меня морочите?... Не зря же вы говорите, что Лу... Лу! У тебя всё в порядке, заяц?

– Пор-рядок! – донеслось из-за стеллажей. Если Лу раскатывает свою «Р», то у Лу полный порядок. Лу гордится своею «Р», которую пришлось вымучивать с детских лет, когда она не давалась совершенно, превращаясь то в «Л», то в «У». Хорошо, что ты в порядке, Лу.

Потому что вот я совсем не в порядке.

– И что: я могу любые купить? – спросил я, – Нет, я хотел сказать: и что, у вас их покупают? Ну вот эти, депрессивные? Или для страха? Я ещё понимаю – розовые...

– Безусловно, покупают, сэр! – он сделался серьёзен и волнителен, как бы полон гордости, и даже некоторой обиды за престиж собственной фирмы. Впрочем, после всех его ликов и ракурсов, которые мне предоставили очки, я уже не верил ни одной его ужимке; да и безо всяких очков он уже, почему-то, доверия не внушал, – Покупают, и даже, как вы изволили слышать, заказывают специально доставку по выбору... И вот эта пара тоже пользуется спросом, примерьте, сэр!

Я даже не успел рот открыть, а он уже махнул мне на нос очередную пару.

Я тщательно вглядывался вокруг, стараясь понять, что изменилось. Не изменилось, похоже, ничего.

– Да ну вас к чёрту! – рассердился я, – Да, лавчонка у вас ничего, но знаете что?... Вы должны быть поаккуратнее с посетителями! Да и внешний вид не мешает поправить, если хотите побольше народу привлечь! Окна бы помыли, что ли! И вообще: должны предупредить, когда собираетесь фокусы людям показывать! В суд на вас не подавали, что ли? Так это сделать не долго! И куда вообще мэрия ваша смотрит: туристический район, а позволяют такие магазины открывать, в которых не знаешь, чего с тобой произойдёт... Впрочем, чего ждать от захолустной мэрии! Тут у вас, поди, местные чиновники только и думают, как бы взятку хапнуть, да побольше времени на сиесте провести?... Работать должны, следить вот за такими торговцами, как вы! Лу, ты там долго? Пошли отсюда: они ещё нам благодарны должны быть, что я тут полицию не вызвал за все их фокусы!

– Должны! Именно – должны! – торжествующе выкликнул долговязый Йозеф, всплеснув руками, – Сколько экспрессии, сэр! Сколько благородного негодования! Да, вот именно эту пару я вам горячо рекомендую, – вы в ней особенно органичны! А я ведь говорил, сэр: пользуются особенным спросом! Часто не успеваем заказывать... Люди, знаете ли, особенную свободу приобретают в этой паре... такую волю к жизни, если хотите, уверенность в себе, уверенность некоторую... так я вам упакую, сэр?

Я пришёл в себя.

– Слушайте, – сказал я, протягивая ему очки, – Вы меня простите, ей-богу... Я вас оценил, и товар ваш этот... Но я... мы... Это не для меня. Простите, что отнял ваше время. Лу! Пойдём, малыш!

– Очень жаль, очень жаль, – огорчённо произнёс хозяин, выгибая стан, и кося глазами куда-то в угол зала, – Как вам будет угодно, сэр, как вам будет угодно...

Белокурые вихры Лу появились на уровне моих глаз.

– Ещё раз спасибо вам. Извините, – сказал я, подпихивая Лу в спину к выходу.

– Так в очках и пойдешь? – рот Лу насмешливо-недовольно искривился, – Или заплати, или сними с носа, чудо!

– Что такое? – изумленно спросил я, и поспешно ухватился за лицо рукой, – Ох, простите меня, ради Бога! – обратился я к хозяину, – Чуть не ушёл с вашим товаром... Да и вы не предупредили...

– Не извольте беспокоиться! – спокойно, и даже чуть лениво, проговорил Йозеф, – Это не наши. Вы в них пришли.

– Я? Пришёл в очках? Да нет, что вы... Лу! Я разве в очках пришёл? Я ведь без очков...

– Вы – в очках, – всё так же спокойно и медленно проговорил хозяин, – И я в очках. И ваш... ваша... Мы все в очках. Всегда.

Мне показалось, что пол качнулся подо мною, как палуба корабля.

Я повернулся к Лу.

Белокурые вихры. Тонкая чистая шея, уходящая в бездонный расстёгнутый ворот клетчатой рубахи не по размеру. И зелёные кошачьи глаза. Под роговыми белыми узкими очками.

– Лу! – сказал я, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, – Во-первых, эти тебе не идут. Во-вторых, мы оба чуть не ушли, не заплатив. Если берёшь – давай заплатим.

– Чего? – насмешливо выдали белые очки, и Лу, фыркнув, идёт мимо меня к двери, даже слегка задев меня плечом. Хозяин доброжелательно проводил Лу взглядом и снова повернулся ко мне.

– Да, – подтвердил он, – В этих вы пришли. По-видимому, сэр, вы всегда их носите – ибо они вам весьма к лицу... Впрочем, если вы уж так желаете, – давайте их снимем!

И я даже не успел испугаться, как он своим лихим и изящным жестом сорвал очки с моего лица.

Свет, ударивший мне в глаза со всех сторон, заставил меня зажмуриться.

Некоторое время – весьма недолгое, впрочем, – я щурился, как крот, пытаюсь разглядеть, что вокруг меня. Потом глаза привыкли к яркому свету, и я разглядел.

Вокруг не было ничего.

Во все стороны, сколько хватало взгляда, простирался лишь этот яркий свет: словно бы я попал в огромную операционную, в которой разом включили и направили на меня сотни ламп. Этот свет лился отовсюду: сверху, снизу, с боков. Я словно бы не стоял, а висел в воздухе, хотя ногами совершенно явственно ощущал твёрдую почву.

Прямо перед собой я различил неясный силуэт: как бы в центре слепого пятна, которое, как я читал в школе, присутствует в нашем глазу... Силась его разглядеть, я сначала двинулся вперед – безрезультатно, – а потом попятился назад.

Человека, стоящего передо мной, я узнал сразу, хотя что-то в его лице мешало мне удивиться и признать свою догадку окончательно.

Потом я понял.

Это, разумеется, был я.

Узнать себя сразу мне помешало, – и это я понял словно бы по подсказке извне, – то обстоятельство, что смотрящее прямо на меня лицо не было моим лицом в зеркале. Понимаете, в чём фокус: мы ведь не знаем себя в лицо, мы знаем своё отражение в зеркале, – а оно выглядит, как вы понимаете, совершенно иначе, чем видят наше лицо посторонние люди.

Лево – направо. Право – налево.

А тут я впервые увидел себя таким, каким видят меня другие. И даже не сразу узнал.

– Что это? – произнес я, и удивился, каким треснувшим фальцетом прозвучал мой голос.

– Это вы, – раздался у меня над ухом спокойный и тихий голос хозяина.

– Я... вижу, – сказал я и облизнул губы, – Но почему?...

– Что – почему?

– Почему я смотрю на себя?

Хозяин помолчал.

– Потому, что вы без очков.

– И... что?

– Без очков вы видите мир таким, каков он есть. И смотрите только на то, что в нём есть.

– То есть... в нём только я?

– А вы видите что-то другое?

– Нет.

Это не может быть реальностью, подумал я. Он меня опять морочит – правда, не знаю как.

– Но что это значит? – спросил я, – Я что: всегда смотрю только на себя?

– Когда вы без очков – да. Но очки мешают вам это заметить. В очках вам постоянно кажется, что вы смотрите на других. На мир, который вокруг. Якобы. Вы критикуете других, осуждаете других, спорите с другими, завидуете другим...

– А разве других – нет?...

– А вы видите какой-то мир? Кого-то ещё, кроме вас?

Мне нечего было ему ответить. Я смотрел прямо перед собой, и понимал, что смотрю только на себя. На себя и свет.

Я не знаю, сколько это продолжалось. Минуту, две, десять... Может быть, час?

А потом он очень мягко, своим фирменным жестом, надел мне на нос очки.

Он смотрел на меня доброжелательно, чуть с беспокойством, как врач, наверное, смотрит на вышедшего из комы пациента.

Телефон на стойке снова зазвонил, – я вздрогнул от неожиданности. Он не снял трубку.

– Где Лу? – спросил я.

– На улице, – ответил он.

Я посмотрел сквозь стеклянную дверь. Клетчатая рубашка маялась в тени навеса, огненный кроссовок ковырял булыжную мостовую.

Лу. Или?..

Я повернулся к нему.

– А Лу?... – спросил я.

Он улыбнулся и слегка поклонился.

– Ждёт вас на улице, – мягко ответил он.

Я неловко повернулся к двери. Я всё ещё не мог придти в себя.

– И вот! – сказал он уже своим привычным, громким и поставленным голосом, – Примите подарок от нашей фирмы. С глубоким уважением. Для вас и вашего... вашей... для Лу.

Он протягивал мне аккуратный сверток.

– Спасибо, – сказал я, – Мне, право, неловко... Это – очки?

– Прекрасные очки, – подтвердил он, – Последние поступления. Примите. Не скрою – в рекламных целях... Но и от искренней симпатии.

Я взял свёрток.

– И что я увижу? – спросил я, глядя прямо ему в глаза.

Он помолчал и слегка кашлянул в кулак.

– В общем, это не важно, – сказал он наконец, – Самое главное вы уже увидели. А очки... Модели меняются, скоро будут новые поступления. Мы ориентируемся на ожидания клиентов... Ожидания клиентов – основа работы нашей фирмы, сэр!

Я кивнул ему и вышел. Звякнул колокольчик.

Вихрастый затылок ткнулся мне в щеку.

– Ну, ты чего застрял?

– Лу...

– Чего?

– Я в очках?

– Нет.

– И ты нет...

– Ты чего – перегрелся?

– Нет, Лу. Нет, заяц. Вот – нам подарок. От фирмы.

С тех пор прошло полгода. Когда мы прилетели домой, я пробовал найти на карте города ту улицу, тот дом и тот магазин. Улицу нашёл, а вот дом, магазин – поди разбери... Адреса я, сами понимаете, не запомнил.



В пакете оказались отличные горнолыжные очки – они прекрасно подошли Лу. Самые обычные очки, безо всяких фокусов – я проверил.

Только вот от дурацкой привычки всякий раз лихорадочно ощупывать переносицу, оказываясь в ситуации стресса, я с тех пор никак не могу избавиться.

Пытаюсь избавиться от очередных очков?

Провалиться бы ему, этому Йозефу, с его весёлым магазином...

## ПРОВОДНИКИ

*«...И от неё зависит направлять мужчину туда,  
куда его хочет повести Господь Бог»*

*(Г. Ибсен)*

*«Горы очень разнообразны. Чаще всего они образуют горные страны,  
в которых можно найти вершины – отдельные горы,  
заметно возвышающиеся над общим уровнем горной страны»*

*(Русский географический справочник)*

К подножию Кар-Дага экспедиция подошла уже ближе к закату. Усталые измотанные люди заботились прежде не о себе, а о лошадях: скидывали с дымящихся лошадиных круп тяжелые тюки, обтирали ветошью лоснящиеся от пота спины, ухаживали. Головин запустил пятерню в гриву ближайшего коня, потрепал, втянул ноздрями неповторимый походный запах – запах усталости и надежды. Конь всхрапнул.

Кар-Даг высился над деревней давящей громадой. Высокий, гордый, непокоримый с виду, он казался, как каждый боец с прямой спиной, выше своего роста. В географических справочниках высота горы указывалась по-разному – от 2055 до 2078 метров, но от подножия гора казалась Эверестом.

Деревня была узкой и убогой. На каменистой серой почве ютились наспех приляпанные друг к другу, грязные, нищие домики. Деревня уходила петлей в лощину, и дальний ее конец отсюда выглядел как ласточкины гнезда, приклеенные к скале.

Завернутые в меховые тулупы эйгуры, почти неразличимые по внешности и возрасту, копошились вокруг экспедиции, помогали нести выюки, ружья, провизии. Уставшие путешественники молчали, слышен только был, как и всегда, звонкий голос Рицкого, улыбающегося румяного брюнета, похожего на основательно погрузневшего Лермонтова. Ефремов, кругловатый, сутулый, плотно завернутый в плащ, с нахлобученным на шею капюшоном, тащил свой тюк сам, без помощи эйгура, не доверяя также и оружие. Потехин устало ругался и подгонял угодливо улыбающихся аборигенов. Усатый Никитенко, по-военному молодецкато-подтянутый, зычным командирским басом распоряжался уже об ужине.

Низкорослый кривоногий охотник подошел к Головину вплотную, блеснул щелочками глаз и растянул рот в щербатой улыбке.

– Здравствуй, командир, – сказал он, – Проводник ждет вас. Еще утром ждали вас... Проводник хороший, опытный. В прошлом году также экспедиция шла – довольны были. Но только до верхнего ущелья дойдет с вами. Там – деревня, другого проводника возьмите. Наши здешние дальше верхнего ущелья не ходят. Прошлый год тоже экспедиция была – хотели с нашими до вершины идти. Но наши не ходят.

– Погоди, – устало сказал Головин, – Знаю, слышал. После поговорим.

Он положил руку на плечо старика, слегка пожал, отпустил и неторопливо зашагал вслед за Ефремовым и Потехиным к ближайшему домику.

В лощине клубился туман. Холодный предгорный воздух обжигал гортань, забирался под воротник, заставлял укутывать шею и лицо. Снег лежал на террасах горы белой чистой скатертью. Ниже, к деревне, и между домами, и посередине того, что можно было назвать улицей, тут и там белели клочки этой скатерти, но основная масса снега была густо перемешана с бурой глинистой грязью. Солнце не пробивалось сквозь тучи.

Эйгуры стояли на порогах домов, приветливо улыбались, даже слегка кланялись. В нищей, удаленной на десятки километров от ближайшего города деревне, те небольшие деньги, которые платили местным жителям геологи, географы и прочий путешествующий научный люд, были существенным подспорьем. Из-за денег, как считал циник Барсуков, или в силу природного добродушия и гостеприимства, как убежден был Головин, эйгуры экспедиции всегда ждали, принимали хорошо, обеспечивали ночлегом и горячей едой, заботились и старались не беспокоить без необходимости.

С проводниками на вершину было сложнее.

Прекрасно зная окрестные места, все предгорья и склоны Кар-Дага, охотясь здесь всю жизнь, часто ночуя даже под открытым небом на высоте полутора или двух километров, эйгуры никогда – это известно было точно – не бывали на вершине.

Более того, по непонятным причинам ни охотники, ни проводники никогда не поднимались выше так называемого Черного ущелья, глубокого узкого оврага примерно в километре от пика горы.

Никаких очевидных предпосылок для этого не было. Выяснить причину, по которой аборигены отказывались всходить на вершину, у них самих было невозможно. Это Головин точно знал из общения с ранее посещавшими Кар-Даг.

В разговорах об этом местные занимали крайне странную позицию: для них возможность подъема на вершину было чем-то сродни предположению о подъеме на облако или о хождении по воде. Прохождение выше Черного ущелья эйгурам представлялось просто физически невозможным, причем строго для них самих, – к подъему на пик приезжих путешественников они относились абсолютно спокойно.

После недолгого отдыха у костра и жадно проглоченной миски горячего жирного супа Головин в течение получаса разговаривал со стариком-охотником. После этого разговора Головин укрепился во мнении, что невозможность посещения вершины Кар-Дага для местных жителей была словно врожденной, переданной предыдущими поколениями, и именно поэтому абсолютно естественной, – старик на прямые вопросы «Почему?» лишь пожимал плечами, сосал вонючую трубку и задумчиво произносил «Не ходим».

– Но кто-то же был? Из ваших? Может, несколько лет назад, старики ходили? – спрашивал Головин.

– Нет. Не ходим.

– Это обычай? Расскажи подробнее.

– Не знаю. Зачем нам ходить?

– Но экспедиции тоже не доводите? Ведете до верхнего ущелья, а дальше оставляете. Почему нам можно, а вам нельзя?

– Вам – нужно.

– То есть вам – не нужно?.. А если бы нужно было – пошли бы? А если заплатили бы хорошо?

– Никогда никто не ходил. Вы – ходите. Мы – нет. Вам – нужно. Мы – внизу охотимся. Все тропы внизу.

Никаких климатических, биологических и даже мистических причин этого Головину выяснить так и не удалось; этому, впрочем, с учетом опыта предыдущих экспедиций, он не удивился.

Но больше всего его удивил именно этот новый, уловленный им уже в разговоре со стариком, нюанс. Эйгуры не то чтобы боялись вершины, и не исключали физической возможности для себя туда дойти. Но отказ подниматься туда вместе с путешественниками был встроеным природным механизмом; подъем на вершину был начисто лишен всякого практического смысла и вообще исключался из сферы обсуждения и осмысления местных жителей.

Но проводники были необходимы. Проблема экспедиций заключалась в том, что путь на двухкилометровый по высоте на Кар-Даг в реальности представлял собой около тридцати километров болот, оврагов, расщелин, каменистой труднопреодолимой земли, почти полного отсутствия дорог, если не считать протоптанных охотничьих тропинок. Прохождение пути осложнялось крайне капризным и негодным климатом на северном склоне – единственно доступном для исследования склоне горы. Густые туманы утром и вечером, шквальные ветра днем, неожиданные штормовые дожди в любое время дня и ночи, – Кар-Даг словно защищался от лишних любопытных глаз.

Преодолеть эту дорогу без проводника, детально знающего местность, было крайне сложно и рискованно, скорее всего – невозможно, и за всю известную Головину многолетнюю историю путешествий на гору, никто таких попыток и не предпринимал. Эйгуры были надежной опорой, и единственным шансом исследователя пробраться по склону горы, – если не на вершину, но на путь к ней.

А подняться хотелось. Кар-Даг был жемчужиной для биологов, географов и геологов. Уникальная фауна и флора горы, сложнейший нестандартный ландшафт, имеющий волшебную способность постоянно меняться, – подробную карту склонов Кар-Дага составить не удалось до сих пор. Сами эйгуры, их столетние поселения, необычная культура и уникальная мифология, представлялись кладом для этнографов. Наконец, именно на северном склоне горы геологи уже не первый год находили подтверждения богатства здешних недр, – и наличия золотой руды в том числе. Поэтому экспедиции на Кар-Даг были постоянным явлением, происходили регулярно, – и тем более удивительным представлялась столь малая исследованность горы и всего, что с ней связано.

Головин, пригнувшись, вышел из домика, остановился у порога, посмотрел вверх. Вершину горы стремительно затягивало тучами, погода портилась. Эйгуры сутились у большого костра, возле которого плотным полукругом гнездились участники экспедиции – Рицкий, опытный географ Потехин, отставной офицер Никитенко, молчун доктор биологических наук Ефремов, еще один географ Петр Климин, геологи Барсуков и Дорохов: первый – неисправимый циник, а второй – трудяга и стоик, автор, несмотря на крайнюю молодость, уже нескольких научных трудов.

Головин зачерпнул пригоршней снег, по-лошадиному, губами ухватил с ладоней: обожгло губы и язык, захрустело во рту.

Болтун Рицкий сидел на корточках возле проводника. Проводник, приведенный стариком, был низок, сухощав, неопределенного, как и все местные, возраста. Маленькие глазки его тускло блестели из-под надвинутой на лоб шапки.

– На вершину пойдем, – говорил Рицкий, заглядывая в лицо проводника, – Понимаешь, братец? Гору покорять! Человек покоряет гору! Вы вот у подножья всю жизнь живете, а мы – наверх! Да ты понимаешь, что человеком движет? Это и не под ногами дорога вовсе, это – путь духа! Это – воли восхождение! Эх, ребята, – отнесся он уже к Климину и Барсукову, – В детстве все думал: зачем человек в горы идет? И не было у меня никогда другого ответа, да и сейчас нет: ведь это поэзия, это шаг над собой, прыжок в небо, черт побери! Идя вверх – преодолеваем себя, себя побеждаем!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.